

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

БЕДОЛАГА

Георгий Викторович Баженов

Бедолага

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42190911

Бедолага. Роман. / Баженов Г. В.: Книга по Требованию; Москва; 2017

ISBN 5-7117-0116-9

Аннотация

Роман «Бедолага» состоит из 2-х частей. В первой части действие происходит в провинции; во второй – в провинции и в Москве.

Автор стремится показать, как из «обычных» безобидных мелких хулиганов, «бедолаг», получились нынешние монстры преступности и беспредела. Главное, что они попирают, – это само понятие любви: к жизни, к женщине, к ребенку, к человеческим ценностям, ко всему светлому и чистому в жизни.

Действие романа развивается драматично и напряженно.

Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

Содержание

Часть первая	4
Глава 1	4
Глава 2	13
Глава 3	27
Глава 4	40
Глава 5	59
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Георгий Баженов

Бедолага

*Александру Трemasову – человеку слова и дела –
посвящаю эту книгу.*

Часть первая

Жизнь и похождения

Глеба Парамонова

*Взгляните, например, в многочисленные типы
русского безобразника. Тут не один лишь разгул
через край, иногда удивляющий дерзостью своих
пределов и мерзостью падения души человеческой.
Безобразник этот прежде всего сам страдалец.
Ф.М. Достоевский*

Глава 1

У человека всегда должна быть надежда

– Вы знаете, зачем я вас вызвал? – Голос редактора звучал не так строго и отчужденно, как обычно, но все же была в

нем всегдашняя серьезность, задумчивость.

– Пока нет, – коротко ответила Лариса.

– Нам нужен острый материал на морально-нравственную тему. Вы слышали о таком – Парамонове?

– Да, слышала.

– Неплохо бы написать о нем очерк. Скажем, в нескольких номерах, с продолжением.

– Об этом убийце?!

– Убийца он или не убийца – этим занимались соответствующие органы. Ваша задача – подойти к материалу с морально-этической стороны.

– Да это же мерзавец, которого расстрелять мало!

– Ах, Лариса Петровна, Лариса Петровна... Страшные слова говорите, а ведь надо попробовать разобраться в человеке.

– Вряд ли я справлюсь... – засомневалась Лариса. Но внутри у нее неожиданно загорелось честолюбивое желание: «А что, если в самом деле взяться? Тут такой материал можно раскрутить, что...»

– Вы же всегда мечтали написать что-нибудь из ряда вон... Вот вам и карты в руки. Со своей стороны обещаю: как бы остро ни получилось – будем печатать. Нам нужен такой материал: проблемный, болевой, будоражащий общественность.

– Сколько мне дается времени?

– Торопить не будем, Лариса Петровна. Но и тянуть не в

ваших интересах.

– Хорошо, поняла, Иван Владимирович. Обязанности завотделом остаются на мне?

– Обязанности завотделом остаются на вас. Правильно, Лариса Петровна.

– Ясно. – Лариса хотела усмехнуться – скорей всего, по привычке, но сдержала себя, нахмурила только брови. – Я могу идти?

– Да, Лариса Петровна, вы свободны. Ни пуха ни пера!

Лариса не стала подхватывать: «К черту!» – вроде неудобно говорить такое редактору. Она решительно встала из-за стола и быстро вышла из кабинета.

Заведовала Лариса Петровна Нарышкина отделом писем в районной газете «Отчий край». Но иногда, как в пучину, бросалась в самый жар жизни, писала проблемные очерки на морально-нравственные темы.

На улицу Декабристов, к Евдокии Григорьевне Шелестовой, Лариса отправилась вечером, после напряженного рабочего дня – был понедельник. Долго прикидывала: с кого начать? И вот решила – с Евдокии Григорьевны.

Дом Шелестовой стоял в самом конце улицы, некогда упиравшейся в лес; теперь лес отодвинулся: на выкорчеванной огромной площадке устроили футбольное поле, огородили его громоздкими деревянными трибунами, и вот дом Евдокии Григорьевны оказался не у леса, а у высоченного дере-

вянного забора. Соседство не очень приятное, особенно по субботам и воскресным дням: шум, крик, гвалт, а раньше еще – и пьянство, пустые бутылки, матерщина. Теперь, правда, этого не замечалось, а все равно соседство было беспокойным.

Дом Евдокии Григорьевны казался хмурым, подслеповатым: два окна наглухо закрыты ставнями, и только в третьем окне, дальнем от ворот, тускло горел свет. Лариса нажала на кнопку звонка – раз, другой, третий, но то ли звонок не работал, то ли пускать не хотели, – никакого движения в доме не замечалось. Лариса открыла дверцу палисадника и, шурша полами плаща о высохшие стебли георгинов и хризантем, подошла к освещенному окну. Осторожно постучала пальцами по стеклу. За шторкой мелькнула тень: видимо, Ларису долго и настороженно рассматривали сквозь приоткрывшуюся щелку штор.

– Кто там? – спросил напряженный женский, совсем не старый еще голос.

– Откройте, пожалуйста, я из редакции, – представилась Лариса.

Ворота наконец приоткрылись: на Ларису вопрошающе смотрела седая, с серьезными, недоверчивыми глазами женщина.

– Вы Евдокия Григорьевна Шелестова? Здравствуйте! Меня зовут Лариса Петровна, я из газеты «Отчий край», очень бы хотела поговорить с вами.

– О чем? – Глаза Евдокии Григорьевны не потеплели, взгляд оставался напряженным, недоверчивым.

Стояли холодные октябрьские дни, то дожди, то снежная крупа сыпали попеременно сверху, а сегодня отдавало настоящим морозцем, но Евдокия Григорьевна стояла перед гостьей в галошах на босу ногу, в легком ситцевом халате, сидя, крепкая.

– Да как вам сказать... – Коротко Лариса не могла объяснить цели своего прихода. – Мне нужно поговорить обо всем, что у вас случилось. Вообще поговорить...

– У вас есть дети? – поинтересовалась Евдокия Григорьевна, и как-то грубовато это прозвучало, с вызовом.

– Нет, детей нет, – несколько виновато ответила Лариса.

Этого, пожалуй, Евдокия Григорьевна не ожидала. Она думала услышать сейчас: «Да, конечно, есть дети», – на что сразу бы отрезала: «Так вот, ради наших детей – оставьте нас в покое!» Но вдруг услышала совсем другое – и на секунду растерялась. Однако тут же голос ее зазвучал еще резче:

– А если детей нет, тогда нам вообще не о чем разговаривать! – и хотела закрыть ворота, но Лариса с горячей обидой воскликнула:

– Но у меня будут дети! Вы что?! Я же еще совсем молодая женщина!

Странно, Евдокии Григорьевне показался необычным этот возглас: «Я же еще совсем молодая женщина!» Она помедлила закрывать ворота, спросила устало:

– Ну хорошо, что вам от меня нужно?

– Только поговорить, Евдокия Григорьевна. Что захотите – то расскажете, чего не захотите – не надо. Честное слово, я мучить вас не буду!

– Ладно, проходите. – Евдокия Григорьевна развернулась и, не оглядываясь, стала подниматься по высокому крыльцу в дом.

Лариса поспешила за ней.

Сидели на кухне: Евдокия Григорьевна на лавке, Лариса – на табуретке. Плащ хозяйка не предложила снять гостье, а сама Лариса не решилась сделать это. Чаю тоже не предложила Евдокия Григорьевна: мол, и так ладно, нечего расслаиваться, я никого не приглашала. Лариса не ожидала такого приема. Уж кто-кто, думала она, а Евдокия Григорьевна должна бы обрадоваться появлению корреспондента.

– Вы что, не любите нашу газету? – осторожно поинтересовалась Лариса.

– А за что ее любить? Газета как газета. У вас свои дела, у меня – свои.

– Простите, Евдокия Григорьевна, мне кажется – в данном случае наши интересы должны совпасть. Мы хотим помочь вам.

– Помочь мне? – усмехнулась Евдокия Григорьевна. – Никто мне помочь не может. Вот так, никто! – решительно подтвердила она.

– Но ведь Глеб Парамонов...

– Какой Глеб Парамонов? Не знаю никакого Глеба Парамонова! – По лицу Евдокии Григорьевны потекли густые белые пятна.

– Как не знаете?! Это же...

– Не знаю и знать не хочу! Ясно вам?

– Но как же, Евдокия Григорьевна...

– А вот так! И вообще – оставьте меня в покое! Вы что, хотите, чтобы я и внучку потеряла? Побойтесь Бога!

– Что вы, Евдокия Григорьевна, – совсем наоборот. Мы хотим помочь вам, хотим разоблачить зло, наказать его. Мы хотим в газете...

– Ради всего святого, – взмолилась Евдокия Григорьевна, – если в вас есть хоть капля сердца – не лезьте в мою жизнь. Она погублена, пусть так. Но внучку свою я хочу видеть живой, а не мертвой. Понимаете, жи-вой?!

В это время хлопнула входная дверь, и в дом, покрасневшая, с плюшевым медведем в руках, вбежала девочка лет пяти:

– Ой, бабушка, у нас гости! – воскликнула она. – Здравствуйте!

– Здравствуй, – улыбнулась Лариса. – Тебя как зовут?

– Надюшка. А вас?

– Меня – Лариса Петровна.

– Лариса Петровна, вот посмотрите, у моего Панфила рука болит, вот здесь. – Она показала на руку медвежонка. –

Скажите, есть надежда вылечить его? – Надюшка ткнулась тельцем в колени Ларисы и начала игриво-вопросительно заглядывать в ее глаза.

– Я думаю, есть надежда. Надежда всегда должна быть у человека. – И Лариса погладила девочку по голове.

– Ты вот что, слышь, Надя, – спохватилась Евдокия Григорьевна, – не мешай тете, она уходит собралась, а ты встать не даешь. – И без всякого перехода произнесла, уже для Ларисы: – Вот такие, значит, дела, Лариса Петровна, чем богаты, тем и рады, как говорится, не обессудьте, всего вам доброго!

Делать нечего, пришлось опешившей Ларисе подниматься с табуретки и идти к выходу. Евдокия Григорьевна шла за ней следом и чуть ли не руками подталкивала гостью к выходу, делая вид, что показывает ей нужное направление.

– А вы к нам еще придете? – Надюшка смотрела на Ларису снизу вверх, и столько в ее глазенках лучилось любопытства и доброй заинтересованности, что и соврать было нельзя, и правду сказать невозможно. Лариса пожалала плечами:

– Жизнь покажет, Надюшка. Ну, до свиданья! Лечи своего Панфила.

– Хорошо, я вылечу, раз есть такая надежда. До свиданья, тетя Лариса!

Евдокия Григорьевна вывела Ларису за ворота и еще раз, на прощание, обратилась к ней с заклинанием:

– Не трогайте нас, оставьте в покое! Подумайте о девоч-

ке, ей надо жить, жить, а вы хотите... Ради всего святого – бросьте свою затею! Не знаю я ничего и знать не хочу. Вы слышите? Не хочу! – И Евдокия Григорьевна с грохотом закрыла за Ларисой ворота.

Глава 2

Как всё это началось

Вернулся он в поселок, как всегда, неожиданно. Года полтора его черти по свету носили – и вот, объявился. Как снег на голову. Марья Трофимовна возроптала было, но Глеб с порога спросил:

– Мать, слышь, у тебя паяльная лампа где?

– Какая еще лампа? – не поняла Марья Трофимовна.

– А кто вякать будет, того за ноги – и в конюшню. Опалю, как борова.

– Ну, явился не запылится... нехристь... Постыдился бы мать стращать.

– Сама знаешь, ага: сынок для матери – до смерти дитя. Не обижай младенца!

– Обидишь такого, как же... Чего опять прикатил, чего надо?

– Курица на шестке тоже квохчет, а спроси ее: о чем она? Не бери, мать, пример с курицы.

– Тьфу, век бы тебя не видать! – в сердцах сплюнула Марья Трофимовна.

Устроился Глеб, как обычно, в маленькой комнате. Кровать, матрас, подушка. Шкаф матери выставил вон. Вытащил из кладовки магнитофон, пощелкал тумблерами, повозился с отверткой, включил – пошла лента. И песни прежние

выжили, вон их сколько – десяток катушек наберется. Прилег Глеб на матрац, не раздеваясь, прямо в ботинках, закурил сигарету, вслушался в музыку... А что, жить можно!

...Лето стояло, горячий июнь. В первый же день отправился Глеб на пруд, к яхтам. Смолоду занимался спортом, тянуло к яхтам и теперь. Воля, вода, скорость, азарт – чего еще надо душе? Многого менялось в его жизни, а тяга к воде, к простору, к риску осталась навсегда. Кое-кто из прежних, из старых знакомых встретился на пруду – затянули в подсобку, где инвентарь хранился, угостили.

– Как жилось в далеких краях? – спросили.

И он рассказывал, похохатывая. С учительницей одной жил, баба ничего, все на месте, конечно, но образованная попалась, взялась за него, перевоспитывать решила. Где это? Да недалеко от Аркалыка, город такой есть, не слыхали? Вот там. Но это что, это цветочки, главное – расстались красиво. Вошел к ней в класс, малолетки притихли, поднял дорогушу на руки: «Целуй – или в окно выброшу!» Она до этого три дня в молчанку играла: или переменишься, Глеб, или больше разговаривать с тобой не буду. Три дня молчала. На четвертый он в класс вошел, на руки поднял дорогую учительницу. Короеды онемели – оглохли, ослепли. «Ну, поцелуй!» Она ему оплеуху. Ага, оплеуху, весело смеется Глеб. Ну – я ее в окно. Школа там деревянная, одноэтажная, падать невысоко. Летела со звоном, стекла брызгали в разные стороны.

– «Спокойно, короеды! – объясняю классу. – Ваша мамка

больна. Все по домам!» Их как ветром сдуло, – смеется Глеб.

– И как, ничего, обошлось? – спрашивают.

– Сама дело заминала. Я ведь как у нее жил? Без прописки. И штампа в паспорте нет – ни муж мы, ни жена. А это что? Это разложение общественной морали. А она, не забывая, учительница, чего ей шум поднимать? Позор на всю чучмекскую волость. Самолично в милицию рванула: прошу, умоляю! – смеется Глеб. – Никакого скандала! Он уедет – только чтоб ни шума, ни дела! И вот – уехал. Надоела ее ученость, как тигру пасть. Пускай другого приучает...

Посидели в подсобке хорошо, посмеялись. «А что, Глеб, на яхте хочешь полетать?» – «Ну, еще бы!» И – полетели! На той стороне пруда, у подстанции, задели мачтой высоковольтку. Спасло только то, что заряд стрелой, через мачту, прошел воду – и вылетел куда-то в сторону, в подводные дали. Три человека их было на яхте, каждого так потрянуло, что метрах в десяти от яхты оказались. Главное, живы – только оглохшие слегка.

Неподалеку лодка плыла: муж, жена, ребенок, – их тоже таким ударом пронзило, что сначала в воздухе несколько раз кувыркнулись, а потом в воду. Глеб, когда вынырнул, слышит: «Спасите!» Женщина надрывается. И барахтается что-то рядом с ней, вопит, в волосы цепляется. Ребенок, девочка. Глеб – к женщине. Еле отодрал от нее девчонку, мать уж пузыри пускала. Подхватил дочку, потянул к берегу. А мужа, видать, так ударило, что тот забыл, где свет, где тьма: не к

берегу плывет, а на середину пруда, ничего не соображает. Женщина опять в крик. Короче, пришлось Глебу снова в воду лезть, догонять мужика. Тот, правда, сам вскоре очухался, повернул назад.

Вот так и оказались на берегу: муж, жена, дочка – и Глеб с компанией. Дочка, Надя, воды особенно не наглоталась, но страху натерпелась. И чуть пришла в себя – смеется, колокольчиком заливается. Страшно ей, что рядом со смертью побывала, и радостно, и чудно как-то. Пришлось матери умирять ее. Тогда Надюшка в другую крайность ударилась – захныкала, заплакала. Одним словом – истерика. Еле успокоили ее.

Муж сидел помятый, пришибленный. Жена, Шура, тоже на счастливую не походила: глаза чумные, бретелька у лифчика надорвалась, грудь оголилась, а Шура и внимания не обращает.

С другого берега, от водной станции, торопливо гребли к ним две шлюпки.

– В суд подавать будете? – спросил один из дружков.

– Какой суд? – не поняла Шура. И лифчик наконец поправила.

– Правильно, – сказал Глеб. – Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

– Да-да, – закивала Шура. – Спасибо вам большое! Мы и не поняли, что случилось... Если бы не вы, – она вымученно улыбнулась Глебу, – не знаю, что и было бы...

– Да, спасибо, мужики! – поддержал Шуру и ее муж, Николай. – Черт знает что за история...

Видать, не очень разобралась эта троица – муж, жена и ребенок, – кто виноват в случившемся. Глеб и забросил наживку:

– На спасибо бутылку не купишь. Горло не промочишь. Надо бы обмыть это дело, а?

– Конечно, конечно, – поспешила Шура. – Приглашаем вас всех в гости. Как приплывем – пожалуйста к нам. Правда, Коля?

– О чем разговор!..

Стал иногда захаживать к ним Глеб. Выпить хочется или, на худой конец, опохмелиться – он к Пустынным в гости. Фамилия такая у Николая была – Пустынный. Глеб при случае посмеивался: «Коля Пустынный – мужик алтынный!» Что хотел сказать этим – никто не знал. Николая, конечно, со временем стали тяготить визиты Глеба, но он молчал. Терпел. Глеб жену спас, дочку – такое грех забывать...

Работал Николай на заводе, контролером ОТК. Работа сменная, по скользящему графику. А Шура, жена, продавцом в продовольственном магазине. Бывает, придет Глеб – Николай на работе, дочка в садике, Шура дома одна. Поначалу она побаивалась Глеба, потом привыкла: руки тот не распускал, хотя на вид был страшноват, конечно. Ну как страшноват? Если посмотреть на него обвыкшимся глазом, то не

столько он стар был, сколько потрепан. Лет ему, пожалуй, под сорок, а на лбу – глубокие стариковские морщины, щеки впалые, подбородок заострившийся. Нос крыльями раздувается, когда Глеб злится или просто недоволен. Не любил, чтоб ему поперек говорили: так посмотрит – мурашки по телу побегут. А вообще глаза у него хорошие, вроде как с усмешкой в потаённой глубине, лучистые. Если улыбнется – будто обещание тайное затеплится в глазах, манят они куда-то, зовут, а куда и зачем – пойди разберись... Шуре двадцать пять лет, она быстрая, ловкая, но внутри у нее такое иной раз творится... Сама в себе не разберется. Тошно бывает, что жизнь бежит, будто по давным-давно накатанным рельсам. И не просто бежит эта жизнь, а как бы ускользает, протекает сквозь пальцы, водой в песок – и нет ее. Вон оглянись – где она, прошлая жизнь?

Николай, Шурин муж, любил вышивать. С детства это у него тянулось. Придет с работы и, если нет дел по дому, сядет у телевизора в кресло, пяльцы – в руки, и вышивать. И крестиком мог, и гладью, но крестиком лучше получалось, художественней. В квартире у Пустынных, в обеих комнатах, на всех стенах картины и картинки висели – и не какие-нибудь там вазочки или цветы, а жанровые вещи: «Грачи прилетели», «Три богатыря», «Бурлаки на Волге», пейзаж Левитана, перовские «Охотники на привале». Прямо художественная галерея. Глеб думал – это все Шуриных рук дело, та не отрицала, но и не подтверждала его догадку. Только

отворачивалась, когда Глеб на стены смотрел, посмеивался да подшучивал:

– Тебе, пеструха, в Москве надо пёрышки чистить. А ты тут вянешь-пропадаешь... Не я твой мужик, а то бы выпорол тебя да в загринок вон: шагай, пеструха, живи!

«Пеструхой» он ее звал с первого дня – видно, за веснушки на лице. Мужа ее, Николая, по имени тоже не звал. Только – «щегол». К примеру: «Слышь, щегол, плесни-ка пару капель...» Впрочем, щеглами он называл всех мужиков подряд.

Сказать, что Шура тяготилась приходами Глеба, вряд ли справедливо. Было в нем, при всей его грубости и наглости, что-то особое, странное. Шли раз вместе по улице. Ну, какая она, Шура? Крепкая, литая, крутобедрая. Мимо два парня проходили, один вслед бросил: «Видал – кобыла? И ведь не в стойле стоит...» Глеб развернулся и, как кошка, прыгнул вслед парням. Страшней всего – и говорить ничего не стал: схватил того, что ухмыльнулся, огромной пятерней за волосы, повернул к Шуре:

– Щегол, я не ослышался: ты хотел извиниться перед де-вушкой?

Тут второй парень не долго думая размахнулся – хотел ударить Глеба, но Глеб этого не любил: он резко, беспощадно пнул парня в пах, тот перегнулся пополам, и Глеб потащил первого парня за волосы к Шуре:

– Ну, щегол, пропой нам песенку!

– Извини, не знал... – прохрипел парень.

– Не «извини, не знал»... А – извините, девушка, долгих вам лет и счастья в личной жизни. Ну?!

Глеб развернул парня и, дав хорошего пинка, пихнул его в шею подальше от себя:

– Пошел вон, щегол!

Вся эта сцена произошла в считанные секунды, Шура стояла ни жива ни мертва. Вдруг она развернулась и бросилась бежать... Глеб постоял, подумал, загадочно присвистнул и пошел своей дорогой.

Позже, разбираясь в себе, Шура сделала открытие: как бы там ни было, а ведь ее оскорбили, как оскорбляли уже не раз – и в магазине, и на улице, и на пляже, и она привыкла к этому, не обращала внимания, научилась не обращать внимания, потому что какая может быть защита против этого? И вот, странно, Глеб защитил ее... Дико, грубо, по-звериному, но защитил. Разве Николай решился бы на это? Да он прошел бы мимо, от стыда и бессилия только понурил бы голову – и все. Вступился бы за нее? Ни за что! И она давно свыклась с этим; привыкла, что могут где угодно ни за что ни про что оскорбить, унизить, обматерить – и всем хоть бы что. И ей – в первую очередь... Откуда это? От незащитности? От слабости тех, кто рядом? От трусости?

Как бы там ни было, но, когда рядом с ней находился Глеб, Шуре становилось поразительно спокойно за себя – она была как в броне, невидимой, но прочной.

В этом смысле муж Николай тускнел в ее глазах, хотя был во сто крат лучше, чище, добрей и работающей, чем Глеб. Да и какое может быть сравнение: Глеб – отребье общества, Николай – нормальный, порядочный человек.

А бывало, спорили они на эту тему, Глеб и Николай. Глеб все посмеивался:

– Такие, как ты, хор-рошая для назёма подкладка!

– Я?! – поражался Николай. – Ну, знаешь!

Хотелось ему крикнуть: «Это ты – бездельник, пьяница, бродяга, алиментщик, ты для назёма удобрение!» – но как крикнешь такое Глебу? Можно и по шее заработать. Отмалчивался Николай, только дышал рассерженно.

– Вон и баба у тебя, – говорил Глеб, – захочется кому – тот и подвалит. А ты рот разинешь.

– Я не сторож, не злая собака, чтоб караулить. Шура сама сознательная, понимает: любовь и семья – свято.

– Ха, любовь! – хохотал Глеб. – Плесни-ка пару капель, щегол. Вот так! Ну, насмешил дядю: любовь! Вытер о нее сапоги – и все дела.

– Чего с тобой говорить! – отмахивался Николай. – Ты давно износился, истаскался, нет для тебя ничего святого.

– Слышь, пеструха, это я износился?! – поворачивался Глеб к Шуре. – Ну-ка, вякни своему щеглу: кто из нас кулик болотный, а кто кукует на суку?

– Слушать вас тошно, – отвечала Шура.

Не раз говорил ей Николай: хватит привечать Глеба, а она руками разводила: я тут при чем?

Не пускать, что ли? Раз попробовали: чуть дверь не вышиб, всех соседей на ноги поставил, Надюшку до смерти напугал: «Так-то вы добро помните, щеглы? Мать вашу раз-мать!» – бесновался Глеб.

Смирились, как с Божьим наказанием: ведь в самом деле от смерти спас, чего ж теперь...

Надюшка по вечерам, после садика, частенько к бабушке убегала. Николай на работе. Шура дома одна. Что это за жизнь? Почему-то все время ждешь от нее чего-то необычного, чего-то другого, странного...

Вгляделась один раз Шура: сидит Глеб напротив, стакан в руке держит, огурцом хрустит; волосы грязные, свалявшиеся, глаза мутные, лоб не то что в морщинах – будто в бороздах; нос отвис.

– Сколько хоть тебе лет? – спросила Шура.

– Сорок, не знала? – буркнул Глеб.

– А детей сколько? Есть дети?

– Спроси чего полегче! Двое – законных, и так штук пять-шесть по свету болтаются.

– Не врешь?

– Пеструха, не смей дядю! Дядя врать не любит.

– Странно... – Шура подперла подбородок руками. – Как же ты живешь? Детей не жалко?

– Пусть скажут папочке спасибо, что на свет пустил.

– Так ведь сироты!

– Чего это? – удивился Глеб. – У баб мужики законные есть. Поднимают на ноги моих короедов.

– Совесть в тебе есть?

– Нету.

– Нет совести?

– Нет, пеструха, нету.

– Не может быть! – искренне удивилась Шура. – Не может человек без совести жить.

– Не может, а живет. У кого ты совесть-то видала? Все без совести живут.

– Страшный ты человек... Жалко мне тебя, ох, жалко!

– Жалко, пеструха? – усмехнулся Глеб. – Ты меня не жалей. Себе дороже обойдется.

– Да я не в том смысле...

– Хочешь, байку расскажу? Сволочья, а бабы меня любят. Почему? А им жалеть охота. Натура у них такая. И заметь, пеструха: каждая из меня человека думает сделать. Я ей в морду, а она из меня – человека. Ну, дуры!..

Шура смотрела на него во все глаза. А ведь правда: хотелось ей взять, встряхнуть его хорошенько, надавать пощечин, отмыть, отчистить, поставить на ноги, сказать: смотри, балбес, жизнь прекрасна, жизнь удивительна, а ты!..

– И много у тебя было таких женщин?

– Да пруд пруди, пеструха!

– Ври давай... Кому ты нужен?

– Никому не нужен, точно, а всем охота человека из меня сделать. А из меня человека не сделать. Я – кому хочешь жизнь изломаю, а меня никому не переделать. Горбатого, сама знаешь, одна могила только исправит.

– И мне изломать можешь? – поинтересовалась Шура, и кокетливо это у нее получилось, игриво – сама не ожидала такого.

– И тебе.

– И мне-е?.. – изумилась Шура. – Как же ты это сделаешь?

– Много будешь знать, скоро состаришься, пеструха. Плесни-ка лучше пару капель...

Опять сидели, она смотрела на него, он хрустел огурцом, яснил глазами, отходил от вчерашнего.

– А ты наглец, – задумчиво произнесла Шура.

– Я хам, – поправил ее Глеб.

– Точно, хам, – согласилась она.

– Хам – профессия избранных. Запомни, пеструха, это Глеб Парамонов открыл. Он слов на ветер не бросает...

Вечером Николай накричал на Шуру: я знаю, он тебе нравится, наглец, подонок, сколько можно терпеть его, это ты, ты приваживаешь его, если бы хоть раз сказала твердо: «Не ходи!» – он бы послушался, он бы тебя послушался, он из-за тебя, к тебе ходит, думаешь, я не понимаю? Я все, все понимаю.

Шура, сама того не ожидая, влепила Николаю пощечину:
– А сам молчишь?! Воды в рот набрал?!

На другой день Шура и в самом деле сказала Глебу:

– Не ходи к нам. Все, хватит! Устали мы от тебя.

– Неужто твой щегол раскукарекался?

– Не паясничай!

– Пеструха, а не почистить ли мне ему крылышки? Я это дело могу, за мной не заржавеет. Может, вечером цирк устроить?

– Хочешь, чтобы я милицию вызвала?

– Ты? Пеструха, не смей меня. Подумай о здоровье своего щегла!

– Пугаешь? – удивилась Шура.

Глеб подошел к Шуре вплотную, крылья ноздрей его трепетали:

– Хочешь, дам сейчас в морду?

Она видела – он не шутит. И внутри у нее все обмерло от жуткого страха, бессилия, непонимания того, что, в конце концов, происходит в жизни? Как так получается, что этот человек приходит когда вздумается, делает что хочет да еще пугает?

Он сграбастал ее, подхватил на руки.

– Не надо, – еле выговорила она, дрожа от страха побелевшими губами.

– Молчи! – прикрикнул он.

«Где же Коля? Где он?... – стучало у нее в висках. – Нет

его, никогда его нет, когда надо... Ненавижу! Ненавижу!...»
Так началась эта история.

Глава 3

Первые неожиданности

Что делать дальше? К кому идти, с кем разговаривать? – задумалась Лариса. Союзницы из Евдокии Григорьевны не получилось, а ведь о случившемся больше всего могла рассказать именно Евдокия Григорьевна. Не захотела. Испугалась. Но почему?

Может, лучше всего встретиться с самим Парамоновым? Посмотреть на него, какой он, поговорить – и сразу многое станет ясно? Однако по опыту Лариса знала: до встречи с главным героем лучше всего побольше узнать о нем, иметь обширную информацию, учесть взгляд людей со стороны. Когда-то первый ее учитель в журналистике Валентин Барга говорил: «Запомни первое правило журналиста: “Хочешь знать – умей вертеться!”» – «А второе какое правило?» – поинтересовалась она. «Пиши правду, но помни: начальство ее не любит!» – «И третье правило есть?» – «Есть: “Люби смолоду, ненавидь с детства!”» – «Непонятное правило», – пожалала Лариса плечами. «Чего тут непонятного, – удивился Валентин. – Несправедливость ненавидь с детства – любовь не откладывай на старость». Так и получилось: влюбилась она в Валентина, не откладывая любовь на старость. А что из этого вышло, это уже другая история...

Итак: хочешь знать – умей вертеться. И решила Лариса

завести на Глеба Парамонова нечто вроде досье. С кем бы она ни говорила о Парамонове, что бы ни узнала о нем, какие бы черточки ни прояснила, все туда – в досье, а там видно будет. В конце концов, должен хоть как-то обрисоваться облик этого человека...

С кого начать? Узнала Лариса адрес первой жены Парамонова, Варвары. Поехала к ней. Простая оказалась женщиной, отзывчивая, разговорчивая. Давно она сердцем отошла от Парамонова, поэтому рассказывала свободно, не таясь, как бы даже удивляясь своему прошлому, странностям его и поворотам.

– Где вы с ним познакомились? – поинтересовалась Лариса.

– Да где... на трубном заводе, в цехе. Я тогда в столовой работала, кассиром, он мне сразу понравился. Высокий такой, разбитной, сильный, посмотрит на тебя – так и окатит волна какая-то, ноги ватные делаются... И шутки всегда на языке, прибаутки. Ел за четверых, а деньги никогда не платил.

– Как это? – не поняла Лариса.

– Ну как, – улыбнулась Варвара. – Дело прошлое, чего теперь таиться... Он из армии тогда пришел, двадцать два ему было. Здоровый как бык, есть все время хотел. Мне его, сами понимаете, жалко стало. Он это и почувствовал, ушлый был. Набрал один раз полный поднос: «Варюха, деньги забыл. Потом заплачу, ага?» – и подмигивает. Я чек пробила, конеч-

но, а деньги свои внесла. В другой раз улыбается как своей: «Спасибо, Варюха, выручила! Вечером в семь у кинотеатра, ага?» Я чек пробиваю, а он мимо идет, с полнехоньким подносом в руках. Опять свои денежки уплатила. Так и пошло: ест за четверых, я чек пробиваю да сама и деньги вношу. Он о деньгах больше не вспоминал.

– Это что, выходит, вы содержали его? – удивилась Лариса.

– Выходит, так.

– И долго это продолжалось?

– Да сколько работала в столовой, столько и продолжалось. Года полтора. Потом, когда встречаться стали, это вообще вроде само собой получалось. Стали бы вы с мужа деньги брать?

– Вы поженились?

– Да нет, тогда-то еще не поженились. Но жили. Знаете, как это бывает? Влюбилась я в него, совсем как шальная сделалась. В огонь и в воду готова за него, что вы!

– А он обещал чего-нибудь?

– Да как сказать... За мной, говорит, Варюха, как за каменной стеной будешь. Не бойся, мол, не пропадешь. И точно – гордилась я его любовью. Сколько девчонок мне завидовали, он видный такой, сильный, шальной, каждую минуту не знаешь, что и выкинуть может... Знаете, к примеру, сколько он водки мог выпить?

– Сколько же?

– Бутылок пять. Один. Представляете, какая силища природная была?

– Только странно как-то, – заметила Лариса, – силу природную бутылками измерять.

– Да это я так просто, чтоб показать, что силы в нем огромные тогда были. Прижмет к себе, приласкает – кости так и хрустят.

– Чего же тут хорошего – кости хрустят? – не поняла Лариса.

– Да как сказать... Бывает и это приятно. Мужская сила ворожит нас, гордостью наполняет, бахвальством даже: вот, мол, мужик у меня, не чета вам!

– Какой это год был?

– Считайте. Он с сорок шестого, плюс двадцать два. В шестьдесят восьмом и началась наша любовь.

– А вам сколько тогда было?

– На пять лет младше его, семнадцать, значит. Только-только школу окончила.

Квартира, куда приехала Лариса, была коммунальной; одна из трех комнат – Варвары Парамоновой. Обстановка обычная: «стенка», телевизор, журнальный столик, два кресла, диван-кровать. На телевизоре цветная фотография сына Варвары и Глеба – Трофима. В солдатской форме. Первый год служит в армии.

– В каких войсках? – спросила Лариса.

– В ракетных. Как и отец.

– Глеб служил в ракетных? – удивилась Лариса.

– А что здесь такого? Он даже с медалью пришел – «За отвагу».

– За что ее получил?

– За что – не знаю. А вот вытворял там Бог знает что – это точно.

– Например?

– Один раз рассказывал, – рассмеялась Варвара, – к жене офицера на свидание ходил. Офицер возьми и неожиданно вернись домой. Пришлось Глебу в окно прыгать, со второго этажа. Лейтенант вдогонку из пистолета стрелял. Слава Богу, промазал.

«Любит она его до сих пор, что ли? – размышляла Лариса. – Ничего не пойму...»

– А как он к сыну относится? – спросила Лариса.

– А никак. Как развелись, так не поинтересовался Трофимкой ни разу.

– Алименты платил?

– Кто, Глеб? – улыбнулась Варвара. – Не знаете вы этого налетчика. Он скорей из вас последнюю копейку вытянет...

– Но есть же законы...

– Плевать он хотел на любые законы!

– Странно... Вы как будто с радостью это говорите. Или я чего-то не понимаю?

– С радостью? А что, может быть! – подтвердила Варвара. – Хотите – верьте, хотите – нет, а я рада, даже горжусь,

что сама вырастила сына. Вырастила и воспитала не хуже других. Вон командование пишет: благодарность Трофим за-служил. А вы говорите... – Варвара приложила кончиком платка попеременно к правому, а затем к левому глазу, как бы вытирая набежавшие слезы. Но слез не было.

– Но ведь трудно, наверное, пришлось?

– Знаете, когда самое трудное было? Когда я снова решила судьбу свою устроить. Это уж после того, как Глеб отсидел.

– Да, я слышала, он сидел. А за что?

– Это особый разговор. А вот когда он сидел, обещал: выйду, мол, все, со старым завязываю. Как дура верила. Сколько денег на него ухлопала, все попусту. Вышел – месяца четыре держался. В этой комнате жил. Слава Богу, не прописала паразита. А как начал снова пить, гулять да буяннить – выгнала его. Думаю: хватит, надо всерьез личную жизнь устраивать. А то позже и Трофимка не даст, коситься станет. Вот тут и началось... Глеб всех моих ухажеров отвадил. Как кто появится – он его выследит и так отделает, что... Уж один такой был мужчина, мастер – золотые руки, по сапожному делу он, спокойный, порядочный, честный, а главное – к Трофимке привязался, как к родному сыну, жить без нас не мог. Павел Листов, может, помните такого? В вашей газете про него писали, очень хвалили.

– Давно это было? Я, наверное, еще не работала здесь, – как бы оправдываясь, развела руками Лариса.

– Давно не давно, а порядочно. Чуть не убил его Глеб –

отвадил мужика. Последний сдался. Вот тогда самое трудное для меня и оказалось. Поняла я: кончилась моя бабья жизнь. Глеб – он как собака на сене: ни себе, ни другим. А сам-то, Господи! На каждом шагу дружки да подружки, живет и гуляет как вздумается! Но мне чтоб – ни-ни. Вот это и есть самое трудное – сознать, что кончилась твоя бабья жизнь. Проехала. Сейчас-то вам этого не понять, вы женщина молодая, а придет время – и вас коснется... Вы замужем?

– Нет, не замужем.

– Что так? – будто пожалела ее Варвара Парамонова. – Впрочем, это дело ваше, в душу лезть не буду.

«А мне вот приходится в душу лезть, – нахмурилась Лариса. – Хочешь не хочешь, а надо».

– А знаете что, пристыдили вы меня! – ни с того, ни с сего начала ругать себя Варвара. – Сколько сидим, разговариваем, а чаю не предложила вам. Не откажетесь?

– Чтобы, с удовольствием, – обрадовалась Лариса.

Пока хозяйка управлялась на кухне, Лариса рассматривала книги, что стояли на полках «стенки». Библиотека небогатая, но Лариса заметила – книги все больше с педагогическим уклоном, а журналы такие: «Семья и школа», «Человек и закон», «Ровесник», «Техника – молодежи», «Знание – сила».

– Я смотрю, – кивнула Лариса на полки, когда Варвара вернулась с кухни, – вы воспитывали сына по-научному?

– Где там! – махнула рукой Варвара и, слегка покраснев,

помолодела на глазах. Она выглядела гораздо старше своих тридцати пяти – тридцати шести лет – годиков на десять, пожалуй. Была в ее глазах какая-то усталость, а во всей фигуре – некая тяжесть, медлительность. Вот только сердце, кажется, оставалось молодым, отзывчивым, бесхитростным.

– А как сын относится к отцу?

– Маленьким любил его. Потом долго ненавидел. А сейчас не знаю. Скрытным стал, все думает про себя что-то, думает.

– Он знает, что отец отбывал срок?

– Конечно. Разве скроешь у нас такое?

Вот так они сидели, пили чай с карамелью, а разговор не из веселых получался.

– А за что он сидел все-таки?

– Сказать? – задумалась Варвара.

– Если можно.

– Бил он нас, жен своих. Вообще женщин бил, которые на беду свою связывались с ним. А вот вторая его жена, Танька, не ровня нам оказалась – посадила его. И правильно сделала.

– У нее есть дети от него?

– Есть. Дочка. Как было дело-то? Теща к ним пришла – Глеб с Танькой тогда в отдельной квартире жили. Теща думала: Глеб на работе. А тот предупреждал ее: нос покажешь – выкину с балкона. Сами понимаете, какая теща будет любить такого зятя? Вот и наговаривала дочери, накручивала ее. А Глебу это понравится? Застал в тот раз тещу дома. «Я тебя предупреждал? Предупреждал!» Схватил, потащил к балко-

ну. А этаж высокий, пятый. Бабы в крик. Еле вырвалась теща да бежать к выходу. Глеб догнал ее, дверь распахнул и пинком выставил из квартиры. Так и покатилась теща по лестнице. А Танька стоит – белая. Понимает: сейчас с ней расправа будет. Взял он ее за волосы, а они у ней длинные, распущенные такие, намотал на руку: «Ну, предупреждал я тебя, чтоб этой твари у нас не было?!» – и начал бить жену на глазах у дочери. Дочь в крик, из дома выбежала. А Глеб в раж вошел, рассвирепел – так двинул Таньку, что та головой влипла в батарею. Сознание потеряла, кровь ручьем льется...

– Чудовищно! – побледнела Лариса. – Это в какие годы было?

– Да в какие... году так в семьдесят четвертом – семьдесят пятом... Тут в квартиру милиция нагрянула, дочка привела. Забрали Глеба, и Таньку на «скорой» увезли. Оказалось сотрясение мозга у нее, череп треснул, но жива осталась. Мы, бабы, живучие. Но уж в тот раз она дала волю чувствам. Заявление накатала, а забирать ни за что не согласилась. Даже мать Глеба, Марья Трофимовна, приходила к Таньке, просила за него, но та ни в какую. А у него столько там делишек накопилось – целый том пухлый вышел. И вклепили ему, голубчику, на этот раз пять лет. Но отсидел он всего года два. Он работать умеет, когда припрет его. Работал там как вол, ему и поблажки разные. Да и я все эти годы ездила к нему, передачи возила.

– Вы?

– А что? Была дурой – дурой и осталась. Танька его вконец бросила, так он мне письма пишет: «Варюха, спасай! Выйду – вовек добра не забуду. Завяжу со старой жизнью, женюсь на тебе. Трофимку вместе воспитывать будем. Ему отец нужен...» Вот и клюнула я в который раз. Сколько сил на него ухлопала, сколько денег ушло на паразита! И что? Как вышел, еще держался. А потом за старое. Бить меня начал. Баб водить прямо в дом.

– Неужто прямо в дом?

– Еще бы. Когда я на работе – он их ко мне. Хоть бы комната его была, а то ведь кровно моя, вот этими руками заработанная. – Она показала Ларисе тяжелые, натруженные руки. – Вот что обидно! Да и Трофимку жалко. В его ли возрасте смотреть на такое? Одним словом – выгнала я его. А жить он все равно не дал, паразит. Сам не жил – и другим не давал. Всех мучил. И Таньку в том числе. Вот она, доля наша женская...

На какое-то время в комнате установилось молчание. Наконец Лариса спросила:

– А сейчас-то вы где работаете?

– Да все там же, в столовой. Только в трестовской, на стройке. Бывало, и уходила из столовых, в магазинах работала. И уезжала в другие места – на Север, например. Но от него никуда не спрячешься. Везде найдет. Такой паразит, такой проходимец...

– Вы и на Север от него убегали?

– Да как объяснить, – засмеялась Варвара. – Скорее всего – он убегал, я догоняла.

– Не пойму.

– Когда Трофимка родился, Глеб на Север подался. Сбежал или просто уехал – пойдя разберись. Денег не присылал. Смеялся позже: на водку, мол, не хватало, а тут ты еще... Ну, я молодая была, заиграло во мне – сунулась к его матери, Марье Трофимовне: «Нате вам внука, я за вашим бедолагой поехала!» Мать и рта раскрыть не успела, меня и след простыл. Нашла его на Севере, в Нефтеюринске.

– А как же Трофим?

– Марья Трофимовна позже привезла... Но толку-то мало оказалось. Пожила я там, помучилась, да и обратно подалась... Глеб то на вахте две недели пропадает, то две недели гуляет. Совсем не видать его, как и денег его заработанных. Жить на Севере – и голодать? Плюнула я и улетела домой. Подала на развод, на алименты. Через полгода и он вернулся, показал мне алименты! А дальше я вам рассказывала: сам не жил со мной – и мне с другими не давал.

– Может, вы отчасти сами виноваты? Слишком многое прощали ему?

– А кто из нас, из баб, правой выходит? Если вы любили когда, небось знаете, что это такое.

«Точно, знаю, – согласилась Лариса. – Но не последнюю же сволочь любить... А то они распоясываются – управы на них потом не найдешь».

– А вот скажите, Варвара, если б жизнь повернуть назад... И вам, к примеру, снова с Глебом встретиться... Как бы вы поступили?

– Ой! – рассмеялась Варвара. – Спросите чего-нибудь полегче! Ненавижу его, паразита, но ведь Трофимка от него родился. Как бы я жила сейчас без сына? Так что не знаю, что и ответить вам. Жизнь-то – штука такая: не повернешь ее назад, не-ет. Да и не хочу, намучилась, хватит. Ничего мне не надо. Вот сына жду. Отслужит – свадьбу сыграем. Парень хороший вырос, не в отца, слава Богу. Мне хоть это в утешение...

– Вы, конечно, слышали, что у нас в городе случилось?... Я, собственно, в связи с этим и интересуюсь жизнью Глеба Парамонова.

– Слышала, как такое не услышать...

– Ну и каково ваше мнение?

– Да какое мое мнение? Дурак он, этот Николай, был. А с другой стороны – против такого, как Глеб, не попрешь.

– А Шура Пустынная?

– Ее я совсем не знала. Да что с нее возьмешь? Молодая, зеленая...

– Вы как будто оправдываете Глеба?

– Я?! – изумилась Варвара. – Оправдаешь его, как же... Вы меня извините, все, о чем просили, я вам рассказала. А теперь мне на работу собираться надо.

– Ну что ж, спасибо вам, – поблагодарила Лариса, хотя не

ожидала, что Варвара свернет разговор и уйдет от ответа в сторону.

– Да не за что! – отмахнулась Варвара. – Если что, приходите еще. Всегда будем рады.

Глава 4

Когда вырасту, буду буяннить

Домой Николаю идти не хотелось.

Сидел в диспетчерской ОТК, копался в накладных, которые давно были подписаны; тонкостенные трубы, проверенные и на качество, и на диаметр, лежали на заводских площадках штабелями, ждали погрузки в вагоны. А вагонов не было.

– Чего сидишь, домой не идешь? – В диспетчерскую, хмурый и злой, заглянул бригадир Повилюк.

– Да вот, накладные... – показал Николай.

– Там все в порядке, – буркнул Повилюк. – Слушай, у меня к тебе просьба. Домой пойдешь – загляни к моим.

– А что такое?

– Да скажешь: задержусь тут в ночную смену. Вагоны обещали. А то Маша нервничать будет.

– Ладно, зайду.

Теперь у Николая было дело помимо того, что надо было идти домой, и он наконец собрался уходить.

– А ты чего хмурый такой? Смотрю: последнее время совсем почернел. Жена загуляла? – спросил Повилюк.

– Да дочка приболела, Надюшка, – соврал Николай.

– А то, если жена загуляла, у меня одно верное средство есть. – Повилюк подмигнул Николаю, расстегнул телогрей-

ку, снял фуражку с головы, с которой клубами повалил горячий пар. Повилюк несколько раз протер лысину платком – резкими, широкими движениями. – Уф ты!..

– А какое средство-то? – будто так просто, подыгрывая бригадиру, поинтересовался Николай Пустынный.

– Средство простое. Убей ее хахаля – и все! – Довольный своей шуткой, Повилюк громко захохотал.

Николай кисло улыбнулся:

– Все бы вам шутить, Иван Алексеевич.

– А если серьезно, что у тебя с дочкой? – просмеявшись, спросил Повилюк.

– Да простыла, – соврал и дальше Николай.

– Все понятно. К Маше моей придешь – попроси алоэ. Перемешаешь с медом, водки немного добавишь, протрешь девчонку – к утру как птенчик будет!

– Спасибо.

– Спасибо не мне, Маше скажешь. Так не забудь – алоэ.

– Ясно, понял. Ну, я пошел?

– Давай.

Николай выбрался из цеха, хотел поначалу сесть на автобус, но раздумал: решил пройти пешком. Отсюда, с небольшой высоты, поселок открывался как на ладони. Не весь, конечно, а только южной своей половиной: частные домики с огородами и садами то тут, то там перемежались трех-, четырехэтажными зданиями, и люди в поселке жили двоякой жизнью: одни – как горожане, другие – как сельские

жители, со своей землей, сеновалами и конюшнями, огородами и палисадниками. Деревянный дом, к примеру, был у тещи Пустынного – Евдокии Григорьевны, свой дом имел и бригадир Повилюк, а вот Николай с Шурой получили от завода благоустроенную двухкомнатную квартиру. Как они радовались, когда въехали в пахнущую краской и линолеумом новую квартиру, сколько счастливых планов строили! А вот теперь и идти домой не хочется...

В поселке Николай выбрался на тихую улочку, которая вела к берегу пруда; вышел к воде, постоял здесь немного, посмотрел на умиротворенную вечернюю гладь, над которой зависло уставшее за день багровое солнце. Несколько лодчонек уткнулось в камыш у противоположного берега; там, видать, хорошо брал сейчас окунь. Изредка, видел Николай, то один, то другой рыбак взмахивал удочкой – значит, и в самом деле клевало. Николай не был заядлым рыбаком, но все мечтал, что когда-нибудь заведет собственную лодку и в выходные дни, а особенно – во время отпусков будет рыбачить на лавах, на крутояре, на глубине: там, говорят, лещ берет до полутора килограммов. А можно и с ночевкой уплывать, к истокам Северушки, устраивать на берегу шалаш, брать с собой Шуру с Надюшкой, ранним предбудным часом они будут крепко спать, видеть тридесятые сны, а Николай потихоньку выберется на лодке к зарослям кувшинок, наставит в сизой предутренней мгле побольше жерлиц, и уж к утру-то, к молодому костерку, обязательно возьмет какая-нибудь щукен-

ция... То-то будет радости и восторга у Шуры с Надюшкой, когда они проснутся!

Стоя у кромки пруда, на прибрежной крупнобокой гальке, Николай и не заметил, как размечтался... А очнулся – нахмурился. Что и говорить – немало он мечтал в жизни. А надо идти к жене Повилюка, вот это надо – передать ей просьбу бригадира. И он, ругая себя, направился вдоль берега пруда к той улочке, которая в поселке называлась «Четвертой далекой». Там и жила семья Повилюка.

И в самом деле, немало мечтал и перемечтал в жизни Николай! То ему думалось: хорошо бы купить машину и объездить все мыслимые и немыслимые города страны. И чтоб это были старинные, знаменитые города, связанные жизнью с особыми, поворотными моментами российской истории. А то начинал мечтать о том, что хорошо бы не на заводе работать, а проводником в поезде – сколько можно прекрасных мест увидеть. Или вот, говорят, можно стюардом на международные рейсы устроиться. Там мужчин очень даже охотно берут: здоровье у них покрепче да и выдержка посильней – мало ли какие бывают ситуации в международной жизни. А уж сколько можно было бы посмотреть стран, на какие чудеса насмотреться! Больше всего почему-то хотелось увидеть три чуда: пирамиды Хеопса, индийский дворец Тадж-Махал и домик Колумба в Генуе. Выбор, конечно, был странный, произвольный, но сам-то Николай его понимал: пирамиды – это практическое устремление к вечности, индийский дво-

рец – символ величия человеческого духа, а неистовый Колумб – пример простого смертного, ставшего в истории открытий человечества бессмертным.

Вот какие дали манили Николая Пустынного!

...Очнувшись, он понял – ноги сами вывели его на нужную улицу. Вон и домик Повилюка, а у ворот, прикрыв ладонью глаза, всматривается в него жена бригадира Маша: кто это незнакомый идет по улице? Когда Николай приблизился, узнала его.

– С Иваном чего-нибудь? – испуганно встрепенулась.

– Нет, с Иваном Алексеевичем все нормально, – успокоил Николай. – Просил передать – задержится в ночную. Запарка с вагонами.

– Ну да, у вас всегда запарка! – пошла она, как в штыковую атаку, на Николая. – А дома, конечно, делать нечего! Скотина не кормлена, навоз не убран, картошка не окучена, ребятишки без присмотра – это ничего... Это можно! Иди и передай своему Ивану Алексеевичу – пусть сгниет там. А здесь чтоб ноги его больше не было!

– Да я в цех не пойду. Я домой... – начал было Николай.

– А, вишь как! – перебила она его. – Кому-то домой, а тот из-за лоботрясов должен день и ночь в цехе торчать?!

– Хотите, картошку вам окучу?

– Что-о?.. – удивилась Маша.

– Картошку, – повторил он. – Я это дело умею...

Жена бригадира какое-то время с оторопью смотрела на

Николая, потом замахала руками, будто от комаров отбиваясь:

– Так-то вы домой торопитесь, кобели несчастные?! Его дома жена ждет, а он у чужой бабы огород пахать будет. Ну бесстыжие, ну ненормальные!

– Да это я так, по-дружески, – забормотал Николай. – Мне Иван Алексеевич про алоэ говорил, так мне не надо, отпала надобность...

– Чего это он еще там плел? Выпили небось, теперь про лекарства вспомнили. Ну-ка, дыхни!

– Я не пью, – оправдываясь, произнес Николай и покорно дыхнул на жену бригадира.

– Не пьет он... а чем тогда в свободное время занимаешься?

– Мало ли хороших дел. Вышиваю, например, – признался Николай, в чем обычно никогда никому не признавался.

Жена бригадира, Маша, обомлела: не знала, то ли смеяться начать, то ли ругаться. А потом всмотрелась повнимательней в Николая: мужик-то того, кажется, не в себе...

– Квас у меня есть, – сказала она добрым, потеплевшим голосом. – Выпьешь кваску?.. Тебя, извини, Николаем, кажется, зовут?

– Ага, Николаем. А квасу выпью, спасибо за предложение.

Провела она Николая в сад, усадила за стол под яблоней. Через минуту сама появилась – квас в крынке принесла, холодный, из погреба. «А глаза-то у него, Господи, – подума-

лось ей, – прямо дымные какие-то... Будто с неба свалился!»

– Ты чей же будешь?

– Пустынный моя фамилия. Отец у меня металлургом был, мать учительница. На Малаховой горе жили. Может, слышали про такого – Григория Петровича Пустынного? Отец мой. Вместе с директором завода Вершининым начал он тут.

– Нет, не слыхала.

– Умер лет десять назад. А мать недавно, три года. Живу теперь с женой, дочка есть. Квартира хорошая, двухкомнатная.

– А про вышиванье – это ты серьезно?

– Да нет, так, соврал! – залихватски улыбнулся Николай. – Но вообще, если вы вышивать умеете, я толк знаю. Мама у меня вышивала. Тут есть два полезных начала: душу успокаивает, а второе – художественный вкус развивает. Вот такие фокусы.

– Ясно, – произнесла жена бригадира и нахмурилась, чтоб не улыбнуться.

– Так я пойду? – произнес Николай, как бы спрашивая разрешения.

– Ага, Николай, иди. Ты извини, накричала на тебя... Муж у меня – заполошный. День и ночь на заводе. Вот и сорвалась...

– Муж у вас – самый прекрасный человек, каких я знаю.

– Ну уж прекрасный, – покраснела Маша.

– Да-да, точно вам говорю. А вот скажите: у людей, которые любят, бывает, что им умереть хочется?

– Не пойму что-то...

– Да это я так. Задача такая есть. Никак решить не могу. До свиданья!

– До свиданья, Николай. – И стала смотреть ему вслед, будто на фронт мужика провожала, – с жалостью и болью.

Покружил, покружил Николай, да делать нечего – пошел домой. Там, конечно, Глеб сидел. Шура кормила его на кухне борщом, настойкой угощала. С некоторых пор Шура перестала смотреть Николаю в глаза, зато в движениях ее появилась резкость, грубость – так бы, кажется, и толкнула мужа, чтоб не вертелся под ногами. Странно...

– Надюшка где? – тихо поинтересовался Николай.

– Где ей быть? У бабушки, – отрезала Шура.

– Выпьешь пару капель, щегол? – усмехнулся Глеб.

Николай не ответил, вышел из кухни. Он ничего не понимал. Он стоял в комнате, в спальне – и голову его будто сдавливало тугим жестким обручем: вот-вот, кажется, разорвется. Он смотрел на разобранную постель, на бесстыдно разбросанные повсюду Шурины вещи: кофточку, блузку, лифчик, чулки, комбинацию, смотрел на грязный, засаленный пиджак Глеба, по-хозяйски висящий на стуле, смотрел на тумбочку, где в тарелке, как в пепельнице, валялись жестко смятые окурки Глебовых папирос, – и ничего не понимал.

Не мог! Нет, он все видел, все воспринимал, но разумом отказывался понимать: как такое может происходить? И где – в его собственном доме, в его квартире, в его постели?!

– Шура, – позвал он.

Она не ответила, не откликнулась даже.

– Шура! – взвизгнул он.

– Ну, чего тебе? – появилась она в проеме двери, уперев руки в крутые бедра.

– Это что-о?.. – зашипел Николай, показывая на постель, на разбросанные вещи, на окурки. – Это что-о?.. – продолжал он шипеть, схватив дрожащей рукой пиджак Глеба и бросив его на пол. – Что здесь происходит?! Ты с ума сошла! Вы с ума сошли! Вы что делаете? Вы осознаете, наконец, что вы делаете?!

– Молчи уж, ты-ы!.. – рассвирепела Шура. – Раньше надо было смотреть. Ишь, расшипелся!

– Что-о?.. – задохнулся Николай.

– А то. Пустил козла в огород, теперь расхлебывай. А по мне – так тварь ты дрожащая, больше никто. Ненавижу!

И тут Николай не выдержал – ударил ее по щеке. Звонко получилось.

В дверях молнией появился Глеб. Прищуренные глаза его налились мрачной, угрожающей насмешливостью, крылья ноздрей затрепетали, одной рукой он вытолкнул Шуру из комнаты, захлопнул дверь, а второй рукой, как суслика, поднял Николая за шиворот в воздух:

– У тебя что, щегол, голосок прорезался? Так я могу укоротить его! – Он с силой швырнул Николая в угол. Тот тотчас вскочил на ноги, бросился на Глеба, вслепую в безумии размахивая руками, пытаясь достать, зацепить Глеба.

Глеб дал себя ударить. Стоял не шевелясь, усмехаясь. И вдруг Николай замер, как загипнотизированный, глядя в смеющиеся, наглые глаза Глеба.

– Ну, бей! – попросил Глеб, улыбаясь Николаю. – Бей, щегол!

А тот стоял как вкопанный.

– Бей, паскуда! – приказал Глеб.

Николай не шевелился.

– Так вот, запомни, – многообещающе проговорил Глеб, – еще раз тронешь Шурку пальцем – прибыю, как щегла. Зарубил?

Николай продолжал стоять как в гипнозе.

– И вообще, щегол, не путайся под ногами. Я этого не люблю. – Он развернулся, распахнул дверь и вышел.

Бить Николая он не стал. Руки марать неохота.

Постоял Николай около своего дома, посмотрел на ярко освещенные окна в квартире, потоптался у крыльца, на ступеньках которого бренчали на гитаре незнакомые парни, и поплелся куда глаза глядят...

Впрочем, вскоре он понял: ноги сами ведут к дому тещи – Евдокии Григорьевны. Да и куда еще можно было пойти?

Ведь и дочь Надюшка тоже там сейчас, у бабушки.

Пришел он к теще – та ни о чем не спросила, усадила за стол, накормила ужином: жаркое из баранины, соленые огурцы и компот из слив. Надюшка вертелась рядом, то к отцу на колени заберется, то к бабушке прильнет, а потом умчалась к телевизору – вечернюю сказку слушать.

Евдокия Григорьевна по-прежнему ни о чем не расспрашивала, только изредка, суется у русской печи, посматривала на зятя да украдкой вздыхала.

– Можно, ночевать у вас останусь?

– Да ночуй, ночуй, Коля, какой разговор, что ты... – с радостью согласилась Евдокия Григорьевна.

А хотелось, конечно, Николаю пожаловаться теще, рассказать ей всю правду, да как расскажешь? Что расскажешь-то? Сил не было понять случившееся, тем более – рассказывать...

Была в доме у Евдокии Григорьевны маленькая комната, «малуха», любил там посидеть Николай, когда приходил в гости к теще. Евдокия Григорьевна знала слабость зятя, освободила для него в комодке отдельный ящичек, где зять хранил пяльцы, накрахмаленные кусочки холстин, нитки мулине, иголки. Конечно, по совести, не о таком зяте мечтала теща, хотелось бы, чтобы хозяин он был, мужик, но что поделаешь, раз Николай таким уродился, к хозяйству душой особо не тянется, все что-то думает, мечтает, а то вот и так, за пяльцами сидит, вышивает. Евдокия Григорьевна привык-

ла, смирилась: другие вон пьют, куролесят, а этот смирный, добрый, покладистый. И поговорить с ним можно, душой открыться. А что странный немного – так кто из нас не странный, если поглубже заглянуть?

– А вот ты знаешь, Коля, что мне Надюша-то сказала? – спросила с улыбкой Евдокия Григорьевна, когда после ужина Николай удобно устроился в «малухе», в тяжелом приземистом кресле, надел очки-кругляши и начал вышивать. В течение нескольких месяцев, бывая у тещи, Николай никак не мог закончить жанровую картину «В сосновом бору».

– Что, Евдокия Григорьевна?

– Сказала: когда вырасту, буду буяннить!

– Что-что? – приподнял очки Николай.

– Не знаю, так и сказала, – улыбнулась теща. – Чего это она?

Николая разом окатило стыдом, он покраснел, как маковый лепесток, нахмурился.

– Я ей говорю, – продолжала теща, – да что ты, внучка, разве можно буяннить? А вот можно, отвечает, можно. Выгнать из дома дядю Глеба!

Николай пониже опустил голову.

– Какой это еще дядя Глеб? – поинтересовалась Евдокия Григорьевна у зятя.

– Да так, знакомый один у нас...

– В гости к вам ходит? – не унималась теща.

– Ходит иногда. Да.

– Смотри, Коля, Шурка девка бедовая – как бы чего не получилось. Потом локти кусать будешь.

– Вы в Москве бывали? – ни с того ни с сего спросил Николай.

– В Москве? – удивилась теща странному повороту в разговоре. – Нет, не бывала. А что?

– И я не бывал. Вот думаю зимой в Москву съездить. С Надюшкой. Как считаете?

– А Шура одна здесь останется?

– Одна. А что?

– Вот я и говорю, Николай: смотри! Ты что мне зубы заговариваешь? Или, думаешь, я ничего не знаю? Что у вас там происходит? Что ни вечер – Надюшка у меня. Дорогу домой забыла.

– Да у Шуры то учет, то ревизия, то в торг вызывают. А у меня, сами знаете, скользящий график.

Евдокия Григорьевна посмотрела-посмотрела на зятя, почувствовала – не хочет он перед нею открываться, махнула в досаде рукой и вышла.

Николай отложил пяльцы в сторону – руки дрожали. Посидел просто так, в горькой задумчивости, опустошенный.

Закончилась вечерняя сказка, и Надюшка впорхнула в комнату к отцу. Взобралась к нему на колени, обняла за шею, прижалась к лицу. Крепко-крепко прижалась, долго не отпускала.

– Ну, как дела, Найденыш? – улыбнулся Николай. Он дав-

но придумал ей это имя – Найденыш и, когда они были одни, всегда называл ее так.

– Ой, грустно, папа! – вздохнула дочь по-взрослому. А исполнилось ей недавно всего пять лет.

– Что так? – удивился Николай.

– Знаешь, там одна девочка собаку хотела. А папа с мамой не покупали ей.

– Наверное, денег не было?

– Нет, просто не хотели. Тогда девочка из варежки собаку сделала.

– Как из варежки? – удивился Николай.

– А так. Ей когда надо было, она варежку снимала. И та в собаку превращалась.

Вот так они сидели, болтали и дурачились, а у Николая иной раз сердце обливалось ледяным холодом. Когда он пытался соединить в сознании то, что было там, дома, и здесь, у Евдокии Григорьевны, – ничего у него не получалось, никакого соединения. То, что происходило в его собственной квартире, казалось настолько неправдоподобным, нереальным, что он не мог до конца осознать этого. Что случилось? Что произошло? Как могла жизнь в считанные недели перевернуться настолько, что даже подумать о ней, сегодняшней, страшно?!

Он ласкал дочку, гладил ее волосы, прижимался к ней, чувствуя всю ее нежную, хрупкую фигурку, худые топорщащиеся лопатки, будто легкие крылышки, вдыхал детский ее,

ни на кого и ни на что не похожий запах, — и думал, думал, содрогаясь в душе: как же быть, что делать, где найти выход, в чем? В нем уже начали бродить и метаться тени тех мыслей, которые в скором времени доведут его до полного душевного изнеможения, а пока он еще сопротивлялся, противился их напору, хотя бы потому сопротивлялся, что вот у него на коленях дочка, самое родное, высшее на свете существо, — и разве можно бросить ее, оставить на поругание, на сиротство в жизни?

Как ему хотелось открыться Евдокии Григорьевне, рассказать ей всю правду, может быть — даже выплакаться у нее на плече, но, как бы он ни был слаб, он все-таки понимал, ясно отдавал себе в этом отчет, что многие люди и так давным-давно не считают его за мужчину, потому что в понимании людей мужчина — это прежде всего покоритель жизни, ее усмиритель и хозяин. А кто такой Николай Пустынный? Тряпка, третьестепенный инженеришка, обыватель, любящий вышивать цветочки, и самое главное — Николай сам это понимал, но в то же время он понимал то, чего не понимали другие: всякий человек имеет право на ту жизнь, которая проживается им в согласии с совестью. Совесть у него была чиста, он знал это, но должна ли быть ценой совести потеря любви и радостей жизни, потеря всего самого дорогого и небесного на земле?

Пришла к ним Евдокия Григорьевна, села потихоньку напротив, полюбовалась ласковой возней зятя с дочкой.

– А кто у нас спать будет, а, Надюшка? – лукаво-игриво поинтересовалась она.

– Бабушка будет спать, – тут же весело ответила внучка.

– А кому завтра в садик рано бежать?

– Бабушке завтра в садик бежать.

– А кто сказку на ночь будет слушать?

– Бабушка бу... Ой, внучка Надюшка будет сказку слушать.

– Ну, пошли, значит? Оп-ля! – подхватила Евдокия Григорьевна девочку на руки и понесла в свою комнату, на широкую пуховую перину.

Николай остался в «малухе» один, но вышивку отложил в сторону – пальцы не слушались, мелко-мелко дрожали.

С того времени жизнь в семье Пустынных потекла по новому руслу. Николай мог приходить домой, а мог не приходить, это никого не интересовало, но и тогда, когда он был дома, в собственной квартире, Глеб не уходил, а оставался ночевать и спал в одной постели с Шурой, в той самой постели, где когда-то в любви и нежности была зачата дочка Пустынных – Надюшка.

По утрам Николай мог столкнуться с Глебом где-нибудь в коридоре, или в ванной, или на кухне, при этом Глеб нередко по-простецки интересовался: «Ну, как, щегол, жизнь? Бьет ключом, а тебя – гаечным?!» – и добродушно посмеивался. Николай прошмыгивал мимо, как мышь, но иногда Глеб

успевал схватить его за плечо или, того хуже, за ухо: «Чего не здороваешься, щегол? Как-никак родственники. Обижа-аешь...»

Еще страшней, если Николай сталкивался с Шурой – та бродила по квартире в ночной рубаше, не стыдясь и не стесняясь; Николай задыхался, видя ее, а она окатывала его таким презрительным и насмешливым взглядом, что он готов был провалиться сквозь землю. Но куда он мог деться? Не будешь же все время ночевать у тещи.

А вот Надюшка, дочка, та точно – словно навсегда теперь поселилась у бабушки. Дома и не показывалась.

Как-то раз забрезжила в голове Николая странная и дикая идея. Вспомнились слова Повилюка: «Жена загуляла? Так у меня одно верное средство есть». – «Какое средство?» – поинтересовался тогда как бы между прочим Николай. «А средство простое. Убей ее хахаля – и все дела!»

И вот эта мысль, страшная, дикая – убить Глеба! – занозой засела в сердце Николая Пустынного.

Что бы он ни делал – работал в цехе или ходил по городу, сидел в столовой или направлялся в гости к теще, он думал об одном: убить Глеба!

Но как его убить? Десятки способов и вариантов сидели в голове, но ни один не представлялся верным, окончательным. То Николай мечтал и видел как наяву, будто входит он в собственную спальню, в руках у него двуствольное ружье, они вскакивают с кровати, оба жалкие, трусливые, трясущи-

еся. Глеб кричит: «Не надо! Не убивай! Я больше не буду!» — но Николай хладнокровно, безжалостно нажимает на курок, и Глеб как рухлядь падает руками вперед замертво. Николай наводит ружье на Шуру, палец держит на спусковом крючке, руки дрожат, и Шура начинает просить: «Коля! Коленька! Не виновата я! Это все он, он! Он меня силой заставил, я не хотела, я больше не буду, прости меня! Я люблю тебя, только тебя, прости!» Николай колеблется, но вот отбрасывает ружье, падает на колени перед Шурой, целует подол ее ночной рубашки, Шура рыдает, слезы капаят ему на руки... Он все, все простил! Не надо, не плачь, это все ужасно было, как сон, как наваждение...

Нет, останавливал свои мечты Николай. С ружьем ничего не выйдет. Где я его возьму? Украду? Но где? У кого? И потом — пока я наставлю на него ружье, Глеб может выхватить его у меня из рук, он же бандит, хулиган, у него это запросто, и тогда он весь заряд всадит в меня, а потом, чего доброго, и Шуру застрелит...

Нет, лучше отравить его! Достать цианистого калия и всыпать в настойку. Этот подонок день и ночь пьет, потихоньку подсыпать ему в стакан — и все, сразу на тот свет... Но где взять цианистый калий! Разве его продадут в аптеке? Где его вообще достают? Вон все говорят: цианистый калий, цианистый калий, а поди попробуй найди его... Нет, с этим делом ничего не выйдет. Надо что-то другое.

А что? Может, ночью наброситься на него, придавить подушкой и удушить? Но попробуй такого бугая придавить подушкой! Скорей он тебя самого придавит, сбросит на пол и как щенка прихлопнет, только и всего...

А что еще? Может, нанять каких-нибудь ребят, похлеще да понаглей? Вон их сколько по подъездам шатается, выложить всю зарплату: «Нате, ребята, пейте, гуляйте, но чтоб к завтрашнему утру этого подонка не было в живых!» А что — выследят его в темном закутке, отделают так, что... Куда ему справиться с пятью-шестью молодцами? Вот только кто согласится? Даже и за деньги? Кому охота убивать, чтобы потом сидеть? А то и того хуже?

Нет, тут никто не согласится.

Так что же тогда?

Что делать?

Ведь жить невозможно дальше! Невозможно жить так дальше, сил нет!..

Глава 5

Здесь есть что-то мистическое

«Здравствуй, Валентин!

Пишу тебе третье письмо подряд, а ответа пока никакого. Я понимаю, тебе так проще и легче: зачем ворошить прошлое? Но пойми: мне нужен твой совет, больше ничего. Я даже не боюсь, если эти письма попадут твоей жене на глаза: пусть знает, между нами ничего нет, но разве мы не имеем права, как все люди, на простые дружеские отношения?

Скажу тебе прямо: я совсем запуталась в материале и не знаю теперь, что делать дальше, в какую сторону идти.

Больше всего меня возмутило, как и всю нашу общественность, равнодушие наших официальных властей. Я имею в виду прежде всего милицию и прокуратуру.

Я собрала множество фактов, встретила с десятками людей, нашла даже первую учительницу Глеба Парамонова, не говоря о том, что виделась с его матерью, с его бывшими женами, с друзьями детства, со многими людьми, которые в разные годы работали с ним кто на трубном заводе, кто в мартеновском цехе, кто на стройке, кто в лесничестве... Одним словом – с кем я только не встречалась! А со сколькими людьми хочется да и предстоит еще встретиться! Но уже теперь могу сказать: запуталась в проти-

воречиях. Картина как будто ясная, страшная, а понять ничего нельзя. Представляешь? Чушь какая-то.

Есть одна поразительная деталь: оказывается, Глеб Парамонов, когда ему было лет шесть, любил вышивать. Занимался он вышиванием до второго класса; об этом рассказала его мать, Марья Трофимовна, с гордостью рассказала. Что ж тут удивительного? – скажешь ты. А удивительное здесь то, что Николай Пустынный тоже любил вышивать. Разница только в том, что один занимался этим в детстве, а другой – до последних дней, взрослым. Не знаю, как тебе, а мне представляется здесь что-то мистическое! Вообще мать Парамонова, Марья Трофимовна, рассказала мне, что в детстве Глеб был удивительный мальчик, добрый, сильный, справедливый – и ей можно верить, потому что сейчас она искренне ненавидит его, собственного сына ненавидит – говорит: своими бы руками взяла и придушила его, паразита! Есть матери, которые слепо обожают детей, что бы они ни вытворяли, а есть такие, как Марья Трофимовна, – ведь правда, ей можно поверить? Но все-таки это странный феномен. Марья Трофимовна рассказывала мне, что вплоть до одиннадцатилетнего возраста Глеб горой стоял на стороне матери и младшей сестры Людмилы, защищал их от пьяных выходок отца, один раз даже отважно бросился на него с кулаками, с голыми мальчишескими кулаками, когда отец с топором в руках гонял по дому жену. Отец опомнился, но в злости вышвырнул сына в

сени – в мороз, зимой, – где Глеб целый час простоял раздетый, в одном спортивном костюме, в тапочках и с голой головой. Был еще такой случай, когда сестра его, Людмила, которая младше его на год, но по комплекции, по виду – будто на целых три года, – так вот, был случай, когда Людмила тяжело заболела, нужен был пенициллин, который в послевоенные годы считался большой редкостью у нас, и Глеб один, зимним холодным днем, отправился пешком за восемнадцать километров в Курганово, в заводской дом отдыха, где этот пенициллин был. Ведь это не совсем рядовая деталь, правда? Одним словом, я могу привести тебе десятки примеров, когда Глеб проявил себя в детстве отважным, сильным и – самое главное – добрым и справедливым мальчиком. Куда же это девалось потом?

Представляешь, и мать его, Марья Трофимовна, тоже не может объяснить происшедшей роковой перемены, но ведь в чем-то она проявилась, где-то начиналась, откуда-то взялась, правда?

Извини, Валентин, пишу тебе сумбурно, хотя поначалу хотела рассказать тебе совсем о другом. А именно – о своей встрече с начальником милиции и со следователем прокуратуры. Начальника ты, может, помнишь – майор Синицын? Человек в общем-то добрый, умный, но, как мне показалось, чересчур затянутый в официальный мундир. А следователь прокуратуры – человек новый у нас.

Меня интересовала сама изначальная сторона дела, тот

первый импульс, который подтолкнул все дальнейшие события, покатавшиеся затем по наклонной, как снежный ком. Я имею в виду вот что.

«Почему, – спросила я и того, и другого, – когда Глеб Парамонов вытащил Пустынного из ванной и вызвал милицию, почему приехавшая милиция не заинтересовалась личностью Глеба? Что, к примеру, он тут делает? Как оказался в чужой квартире? И так далее, и тому подобное...»

При этом нужно помнить, что Шура, жена Николая Пустынного, долгое время лежала рядом без чувств – потеряла сознание. Глеб Парамонов вызвал, кстати, и «скорую помощь».

И что мне ответили?

А вот что.

Возбудить уголовное дело против Глеба Парамонова не было никаких юридических оснований. А моральную, мол, сторону к делу не пришьешь. Было официально установлено, что Николай Пустынный покончил жизнь самоубийством не по принуждению, а по собственному желанию. В кармане его пиджака обнаружили записку: «Не хочу больше жить. Прости, Шура». В квартиру Глеб Парамонов и Александра Пустынная вошли вместе. В ванную Шура заглянула первая и, увидев Николая, закричала и упала в обморок. Глеб хладнокровно отрезал веревку, вытащил Николая из ванной. Пробовал делать искусственное дыхание – бесполезно. Вызвал от соседей по телефону милицию и «скорую». Состав

преступления в его действиях нет. Даже наоборот – он показал себя дельным, хладнокровным человеком, помог милиции и врачебной экспертизе. «А то, что он который месяц не работает, ведет аморальный образ жизни, – это, выходит, не имеет никакого значения? – спросила я. – И то, что все это наверняка послужило толчком для самоубийства Пустынного, тоже не имеет значения?» – продолжала я. И, представляешь, мне спокойно объяснили, что с юридической точки зрения именно так все и обстоит: в действиях Глеба Парамонова состава преступления обнаружить нельзя.

... Ой, извини, Валентин, ко мне пришли, закончу письмо в другой раз. Не сердись...»

К Ларисе действительно пришли в редакцию два человека: она сама просила их заглянуть в газету, в отдел писем – хотела побеседовать с ними по душам, если, конечно, они согласятся. И вот – пришли.

Это были муж и жена Виноградовы, старички. Прасковья Ивановна и Иван Иванович. Очень похожие друг на друга, седенькие, немощные, но вежливые, с внимательными глазами, с культурными манерами. Трудно было поверить, что их сын, Семен Виноградов, сорока лет, дважды судим за умышленные убийства, получал сроки в десять и пятнадцать лет, сидел в тюрьме и сейчас. Что хотела услышать от Виноградовых Лариса? Дело в том, что какое-то время Семен Виноградов и Глеб Парамонов дружили, работая в мартенов-

ском цехе подручными сталевара. Был случай, когда Семен спас Парамонова от верной и долгой тюрьмы. Однажды не понравился Глебу начальник цеха, а именно – накричал на Глеба: «Дармоед! Работать надо, а он сидит... В тюрьмах надо гноить таких, а их все на свободе держат!..» Глеб сидел, морщился от боли – только что раскаленным металлом прожег спецовку, нога огнем горела. Рассвирепел: «Ах ты, падла!..» Сграбастал начальника цеха, поднял повыше на руках – тот барахтается, ногами дрыгает, визжит – и понес к ковшу, к кипящей лаве металла. Затмение нашло: хотел бросить начальника в бурлящий ковш. Вот тут Семен Виноградов и спас Глеба от тюрьмы, а заодно и начальника цеха от смерти – ударил ломом по рукам Глеба. Те сразу плетью повисли, а начальник грохнулся на пол, на металлические листы.

О чем хотела поговорить с Виноградовыми Лариса? Да так, разобраться кое в чем, кое-что уточнить... Она усадила Ивана Ивановича и Прасковью Ивановну на стулья, блокнот раскрывать не стала, решила просто побеседовать доверительно.

– Скажите, пожалуйста, – начала она, – как вы относитесь к Глебу Парамонову? Ваш сын, кажется, дружил с ним?

– Очень своеобразный молодой человек. Вы знаете, когда Семушку увезли, он долгое время навещал нас. Успокаивал, – дрожащим голосом проговорила Прасковья Ивановна.

– Еды приносил, колбасы, масла, сахара, – добавил Иван Иванович.

– А за что вашего сына судили в первый раз?

– Вы разве не знаете? За то, что посчитался со своей вертихвосткой, с этой аморальной особой.

– С женой? С Еленой Сергеевной?

– Да, с ней, если таковую можно назвать женой, – поморщилась Прасковья Ивановна.

– Позвольте, но ведь он убил ее? – удивленно произнесла Лариса. – Утопил в Чусовой?

– Лариса Петровна, не забывайте, это была женщина легкого поведения, – с укором проговорил Иван Иванович.

– Но разве можно убивать человека? Ведь вы бывшие учителя, преподавали историю, как же можно оправдывать убийство?

– А что остается делать с такими женщинами? Наш Семушка – талантливый человек, но вспыльчивый, как все талантливые люди, – разве мог он терпеть измены жены? И потом, не забывайте, Лариса Петровна, вся история человечества – это история убийств и крови, – с назиданием, тихо и вкрадчиво произнес Иван Иванович.

– Позвольте, позвольте, – пораженно пробормотала Лариса. – История – это одно, а преднамеренное убийство – совсем другое.

– Все взаимосвязано в этом мире, Лариса Петровна, – успокаивающим тоном резюмировал Иван Иванович.

– А как тогда объяснить второе убийство, совершенное вашим сыном?

– У вас есть дети? – поинтересовалась у Ларисы Прасковья Ивановна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.